

Емельян Пиляй

Ничего больше не остается делать, как идти на соль! Солона эта проклятущая работа, а все ж таки надо взяться, потому что этак-то, не ровен час, и с голоду подохнешь.

Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с ним, голодные, лежали на песчаной косе верстах в трех от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян протянулся на песке головой в степь и ногами к морю, и волны, набегая на берег и мягко шумя, мыли его голые и грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю, и тогда волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему нравилось.

Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес мачт, окутанных клубами тяжелого черно-сизого дыма, оттуда плыл глухой шум якорных цепей, свист локомотивов. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая на ноги, сказал Емельяну:

Ну что ж, идем на соль!

Так... иди!.. А ты сладишь? вопросительно протянул он, не глядя на меня. Там увидим.

Так, значит, идем? не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

Ну, конечно!

Ага! Что ж, это дело... пойдем! А эта проклятая Одесса пусть ее черти проглотят! останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

Ладно, вставай и пойдем; руганью не поможешь.

Куда пойдем? Это на соль-то?.. Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдем.

Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти.

Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил; уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

Да почему?

Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши гроши!.. Ну нет, так не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я полные хозяева наших шкур...

Ну ладно, будет! Пойдем!

Погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему этою самою солью и сказать ему со всем нашим почтением: Милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за шестьдесят копеек в сутки! И тогда последует...

Ну вот что, ты вставай и пойдем. До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод накормят ужином, может быть.

Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбацки народ хороший. Пойдем, пойдем... Но уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому незадача нам с тобой всю неделю, да и все тут.

Он встал, весь мокрый, потянулся и засунул руки в карманы штанов, сшитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их и поднеся к лицу.

Ничего!.. Четвертый день ищу, и все ничего! Дела, братец ты мой!

Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг с другом замечаниями. Ноги вязли в мягком песке, перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшими от мягких ударов набегавших волн. Изредка попадались выброшенные волной студенистые медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшие и черные... С моря набегал славный свежий ветерок, опахивал нас прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри песчаной пыли.

Емельян, всегда веселый, видимо унывал, и я, замечая это, стал пытаться развлечь его.

Ну-ка, Емеля, расскажи что-нибудь!

Рассказал бы я тебе, брат, да говорилка слаба стала, потому брюхо пустует. Брюхо в человеке главное дело, и какого хочешь уroda найди а без брюха не найдешь, дудки! А как брюхо покойно, значит и душа жива; всякое деяние человеческое от брюха происходит...

Он помолчал.

Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из бочонка в рот себе трубку провел. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду: Максим, отверни кран! и буль-буль-буль прямо в горло. Глотай, Емеля! Хо-орошее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, черноземного барина ух ты! грабь дери шкуру!.. выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться: Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик! А?.. Что?.. В долг?! Не дам в долг! Емельян Павлыч, будь милосерд! Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!

Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка вон он голодает, мужик-то.

Как-с? Голодает?... А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Н-да-с! Он голодает почему? Неурожай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других-прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают, вот что! Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет, это что! Это всё шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабак, это бы дело серьезное...

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе выбросила снова на берег.

Не берешь? Врешь, возьмешь! Схватив мокрый кисет, Емельян сунул в него камень и, размахнувшись, бросил далеко в море.

Я засмеялся.

Ну, что ты скалишь зубы-то?... Люди тоже! Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать человека не умеет! Кикимора четырехглазая!

Это относилось ко мне, и по тому, что Емельян назвал меня четырехглазой кикиморой, я заключил, что степень его раздражения против меня очень сильна: он только в моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволял себе смеяться над моими очками; вообще же это невольное украшение придавало мне в его глазах столько веса и значения, что в первые дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе, как на вы и тоном, полным почтения, несмотря на то, что я в паре с ним грузил уголь на какой-то румынский пароход и весь, так же как и он, был оборван, исцарапан и черен, как сатана.

Я извинился перед ним и, желая его успокоить до некоторой степени, начал рассказывать о заграничных империях, пытаясь доказать ему, что его сведения об управлении облаками и солнцем относятся к области мифов. Ишь ты!.. Вот как!.. Ну!.. Так, так... вставлял он изредка; но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них невелик против обыкновения, Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя в даль перед собою.

Все это так, перебил он меня, неопределенно махнув рукою. А вот что я тебя спрошу: ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами, и большими деньгами, подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки, так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого атрибуту, уколошил бы

его?

Нет, конечно, отвечал я. Никто не имеет права покупать свое счастье ценою жизни другого человека.

Угу! Да... Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось, наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права!

У моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна.

И всяк человек только разным способом всегда этим правом руководствуется. Права тоже!..

Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под брови, длинные и выцветшие. Я молчал, зная по опыту, что, когда он зол, возражать ему бесполезно.

Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок дерева, и, вздохнув, проговорил:

Покурить бы теперь...

Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов, лежащих на земле, глядя на нас.

Здорово, панове! окликнул их Емельян, а нет ли у вас табаку?

Один из чабанов повернул голову к другому, выплюнул изо рта изжеванную им былинку и лениво проговорил:

Табаку просят, э, Михал?

Михаил взглянул на небо, очевидно испрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам.

Здравствуйте! сказал он, где ж вы идете?

К Очакову на соль.

Эге!

Мы молчали, располагаясь около них на земле.

А ну, Никита, подбери кишеню, чтоб ее галки не склевали.

Никита хитро улыбнулся в ус и подобрал кишеню. Емельян скрипел зубами.

Так вам табаку надо?

Давно не курили, сказал я.

Что ж так? А вы бы покурили.

Гей ты, чертов хохол! Цыц! Давай, коли хочешь дать, а не смейся! Выродок!

Аль потерял душу-то, шляясь по степи? Двину вот по башке, и не пикнешь! гаркнул Емельян, вращая белками глаз.

Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои длинные палки и став плотно друг к другу.

Эге, братики, вот как вы просите!.. А ну, что ж, идите!..

Чертовы хохлы хотели драться, в чем у меня не было ни малейшего сомнения.

Емельян, судя по его сжатым кулакам и горевшим диким огнем глазам, тоже

был не прочь от драки. Я не имел охоты участвовать в баталии и попытался примирить стороны:

Стойте, братцы! Товарищ погорячился не беда ведь! А вы вот что дайте, коли не жаль, табаку, и мы пойдем себе своей дорогой.

Михаил взглянул на Никиту, Никита на Михаила, и оба усмехнулись.

Так бы сразу и сказать вам!

Затем Михаил полез в карман свиты, выволок оттуда объемистый кисет и протянул мне:

А ну, заberi табаку!

Никита сунул руку в кишенью и затем протянул ее мне с большим хлебом и куском сала, щедро посыпанным солью. Я взял. Михаил усмехнулся и подсыпал еще мне табаку. Никита буркнул:

Прощайте! Я поблагодарил.

Емельян угрюмо опустил на землю и довольно громко прошипел:

Чертовы свиньи!

Хохлы пошли в глубь степи тяжелым развалистым шагом, поминутно оглядываясь на нас. Мы сели на землю и, не обращая более на них внимания, стали есть вкусный полубелый хлеб с салом. Емельян громко чавкал, сопел и почему-то старательно избегал моих взглядов.

Вечерело. Вдали над морем родился мрак и плыл над ним, покрывая голубоватой мутью мелкую зыбь. На краю моря поднялась гряда желто-лиловых облаков, окаймленных розовым золотом, и, еще более сгущая мрак, плыла на степь. А в степи, там, далеко-далеко на краю ее, раскинулся громадный пурпуровый веер лучей заката и красил землю и небо так мягко и нежно. Волны бились о берег, море тут розоватое, там темно-синее было дивно красиво и мощно.

Теперь покурим! Черт вас, хохлов, растаскай! И, покончив с хохлами, Емельян свободно вздохнул. Мы дальше пойдем или тут заночуем?

Мне было лень идти дальше.

Заночуем! решил я.

Ну и заночуем. И он растянулся на земле, разглядывая небо.

Емельян курил и поплевывал; я смотрел кругом, наслаждаясь дивной картиной вечера. По степи звучно плыл монотонный плеск волн о берег.

А клюнуть денежного человека по башке что ни говори приятно; особенно ежели умеючи дело обставить, неожиданно проговорил Емельян.

Будет тебе болтать, сказал я.

Болтать?! Чего тут болтать! Это дело будет сделано, верь моей совести! Сорок семь лет мне, и лет двадцать я над этой операцией голову ломаю. Какая моя жизнь? Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска, хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат, не человек, а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать?

Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо жить, то почему же мне не жить? Э? Черт вас возьми, дьяволы!

Он вдруг повернулся ко мне лицом и быстро проговорил:

Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того... да не удалось малость... будь я, анафема, проклят, дурак был, жалел. Хочешь, расскажу?

Я торопливо изъявил свое согласие, и Емельян, закулив, начал:

Было это, братец ты мой, в Полтаве... лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца, лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в арестантские роты на три месяца и прочее такое по положению. Вышел я, отсидев срок, куда теперь? В городе знают; в другой перебраться не с чем и не в чем. Пошел к одному знакомому темному человечку; кабак он держали воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнеющий на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: А ну, мол, Павел Петров, вызволи! Ну что ж, говорит, можно! Человек человеку, коли они одной масти, помогать должен. Живи, пей, ешь, присматривайся. Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бывало, днем сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках у него все книги были о разбойниках; слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивные дела делали и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки ах ты мне! а в конце книги вдруг под суд цап! и баста! все прахом пошло.

Сижу я у этого Павла Петрова месяц и другой, слушая его чтение и разные разговоры. И смотрю ходят темные молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу толку на грош нет во всех их операциях. Слямзит вещь Павел Петров даст за нее половину цены, он, брат, честно платил, сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик, и ничего не осталось! Плевое дело, братец ты мой! То один попадет под суд, то другой угодит туда же...

Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причем украдено на сто рублей! Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? Дубье!.. Вот я и говорю Павлу Петрову:

Все это. Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук. Гм! как тебе сказать? говорит. С одной, говорит, стороны, курочка по зернышку клюет, а с другой действительно, во всех делах у людей уважения к себе нет; вот в чем суть! Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию

Европы, я продам себя за сто рублей? И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья, и вот, мол, вы, человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что. Гм! говорит. Это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по своему расчету, без помочей? Так, например... Обаимов-то, говорит, с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на беговых возвращается; а как тебе известно, при нем всегда есть деньжонки, на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недельная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать? Я задумался. Обаимов это тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. Нужно обмозговать, говорю. Не без этого, отвечает Павел Петров.

Он замолчал и медленно стал вертеть папироску. Закат почти угас, только маленькая розовая лента, с каждой секундой все более бледнея, чуть окрашивала край пухового облака, точно в истоме неподвижно застывшего в потемневшем небе. В степи было так тихо, грустно, и непрерывно лившийся с моря ласковый плеск волн как-то еще более оттенял своим монотонным и мягким звуком эту грусть и тишину. Над морем, одна за другой, ярко вспыхивали звездочки, такие чистенькие, новенькие, точно вчера только сделанные для украшения бархатного южного неба.

Н-да, браток, покумекал я над этим делом и в ту же ночь в кусты около Ворсклы залег, имея с собой шкворень железный фунтов семи весом. Дело-то было в октябре, помню в конце. Ночь самая подходящая: темно, как в душе человеческой... Место лучше желать не надо. Сейчас тут мост, и на самом съезде с него доски выбиты, значит, поедет шагом. Лежу, жду. Злобы, брат ты мой, в ту пору у меня хватило бы хоть на десять купцов. И так я себе это дело просто представил, что проще и нельзя: стук! и баста!.. Н-да!.. Так вот и лежу, знаешь, и все у меня готово. Раз! и получи денежки. Так-то. Бац! значит, и все тут!

Ты, может, думаешь, что человек в себе волен? Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра сделаешь? Ерунда! Никак ты не можешь сказать, направо или налево пойдешь завтра. Лежал я и ждал одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело вышло!

Вижу: от города идет кто-то пьяный как будто, шатается, в руках палка. Бормочет что-то; нескладно бормочет и плачет, всхлипывает... Еще ближе подошел, смотрю баба! Тьфу тебе, треклятая! Намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идет к мосту прямо и вдруг как крикнет: Милый, за что?! Ну, брат, и крикнула! Я так и вздрогнул. Что за притча? думаю. А она прет

прямо на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: За что?! за что?! и бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что я и сказать тебе не могу сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на нее... И тут, брат, все и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю так сердце и екнуло; ма-аленькая девчоночка, дите совсем беленькая, кудряшки на щечках, глазенки большие такие смотрят так... и плечики дрожат-дрожат, а из глаз-то слезы крупнущие одна за другой так и бегут, и бегут.

Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: Кхе! кхе! кхе! Как она крикнет: Кто это? Кто? Кто тут?! Испугалась, значит... Ну, я сейчас тово... на ноги встал и говорю: Это, мол, я. Кто вы? говорит. А глаза-то у самой во какие сделались, и вся так, как студень, дрожит. Кто вы? говорит. Он засмеялся.

Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня, я вам худа не сделаю. Я так себе человек, из босой команды, мол, я. Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залег тут! А она мне в ответ: Все, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда. И так это она сказала, что меня аж озноб взял серьезно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?

Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем заговорил не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался; больше все насчет того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть раскрасавица! Эх ты, брат ты мой! Ну, уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю; а что кто его знает что? Сердце говорило. Да! А она все смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг как улыбнется!.. заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками. Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: Барышня, говорю, барышня! и все тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой! Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не все еще, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат, вот как! Чуешь? Ей-богу! Эх ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все сорок семь лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошел? Эх ты, жизнь!..

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный странностью рассказа, я

молчал и смотрел на море, похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

Ну, а потом она встает и говорит мне: Проводите меня домой. Пошли мы. Я иду ног под собой не чую, а она мне все рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы они, ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо; дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит... Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила. Ну, говорит, голубчик, прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь. Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам! Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите! пристаёт она. А я такой оборванный был, однако говорю: Не надо, барышня. Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне... Ну, это наплевать, оборвал Емельян снова, принимаясь закуривать.

Ушла она. Сел я на скамью у ворот. Грустно мне стало. Ночной сторож идет. Ты, говорит, чего тут торчишь, али слямзить хочешь чего ни то? Крепко эти самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду рраз! Крик, свист... в часть! Ну что ж, в часть так в часть, вали хоть во всю целую мне все равно; я как двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел. Ночевал; поутру отпустили. Иду к Павлу Петрову. Где погуливал? спрашивает, усмехаясь. Поглядел я на него человек, как и вчера; но как будто что-то новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему все, как и что. Слушал он серьезно таково, а потом сказал мне: Вы, говорит, Емельян Павлыч, дурак и болван; и не угодно ли, говорит, вам обратиться вон! Ну, что ж тут? Али он не прав? Я ушел, и все тут. Так-то вот было дельце, браток!

Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо бархатное и звездное. И кругом все молчало. Шум прибоя стал еще мягче, тише, он долетал до нас слабым, сонным вздохом.